

Григорий Померанц

Когда мы охвачены стыдом

Пьер Безухов никак не может сказать Эллиен: Я вас люблю. В конце концов, он говорит по-французски: Je vous aime. Но иностранный язык дальше от сердца, на нем легче сфальшивить. Или уйти в область абстракций: «Man muss dem Krieg im Raum verbreiten». Немцы, прикомандированные к русскому штабу, говорят на своем родном языке, но для Андрея Болконского это язык иностранный, абстрактный язык военной науки, он переводит его на язык сердца, и Raum, пространство, становится растоптанными посевами, сожженными усадьбами...

Так и с национальной идентичностью. Иностранные термины, да еще сцепленные вместе, создают иллюзию точности, достоверности, наподобие терминов физики или химии. На самом деле, они только заслоняют чувство беспочвенности, возникающее после распада Российской империи, и страх: а что если и Российская Федерация начнет разваливаться? На Кавказе уже идет война...

Слово нация до XVIII в. означало землячество студентов Сорбонны. Потом суверенитет перешел с короля на народ и понадобилось дать новый титул народу французского королевства; этим титулом стала нация, будто бы захваченная единой волей: к свободе, равенству и братству. На самом деле, единство насаждалось террором, Вандея ему не подчинилась. И не совсем ясно, как вели бы себя эльзасцы, если бы к ним вторглись немецкие интервенты. Потом это разъяснилось.

В Швейцарии на конференции мы с женой познакомились с эльзасско-русской семьей. Людмила Владимировна Сухотина увлеклась стихами Зинаиды Александровны, и мы беседовали по-русски. Муж долго молчал, потом он со вздохом заговорил со мной по-немецки. Господин Лобштейн объяснил, что во время немецкого владычества дома у них говорили только по-французски, к немецкому языку у него неприязнь. Пришлось эту неприязнь преодолевать: по-французски я вести разговор не мог.

Более известный случай произошел с Робертом Шуманом. В 1914 году он был мобилизован в немецкую армию и воевал с французами, а в 1918 году стал Робертом Шуманом во вторую мировую войну воевал с немцами; потом, в качестве французского министра, вел переговоры с Конрадом Аденауэром. Итогом переговоров было первое послевоенное франко-германское соглашение, положившее начало объединению Европы. Переводчик на этих переговорах был не нужен.

Людмила Владимировна, царствие ей небесное, родилась на рейде Севастополя, т.е. на ничьей земле, на палубе, во Франции молодая мать умерла, за ней бабушка Людды, девочка скиталась по приютам, ее отыскала прабабушка и заново учила русскому языку, говорила на нем Людмила Владимировна с

ошибками, но неколебимо считала себя русской. Более того, она взяла себе право делить участников конференции, приехавших из России, на русских и советских и дружила только с первыми. Мы с Зинаидой Александровной были для нее русскими. Напротив, госпожа Ландсбергис, которой я пытался заметить, что в Сибирь сослали не только литовцев, горячо мне возразила: «но вы принадлежали к господствующей нации». По-видимому, она исходила из официальной политики становления единой советской нации и относила меня к ней.

Такие же неразрешимые проблемы встают за словом идентичность. Оно ясно только в одном случае: если это документ, удостоверяющий мою личность. Что касается идентичности с нацией, то выходят странные вещи. Литовский профессор Сругога, попавший в немецкий лагерь, рассказывает (в своей книге «Лес богов»), что регистрировали заключенных так: «Фамилия? Рабинович. Национальность? Поляк. Состав преступления? Еврей». Понятия «национальность» (отличное от принадлежности к нации-государству) в большинстве стран Европы нет. Придумали его в Австро-Венгрии, вместе с принципом национальной автономии; потом Австро-Венгрия развалилась, и ее наследники (Чехословакия, Югославия) тоже развалились: национальности объявили себя нациями. И каждая национальная автономия в РФ – бомба замедленного действия. То ли это форма мягкой русификации, то ли – форма нарастающего развала. Прованс и даже Эльзас стали частью Франции, Шотландия и Уэльс – частью Великобритании, но это складывалось веками, а наскоро легче всего развалить.

Я подумал, что я потеряю, если уеду, и вдруг понял: стыд. Мне стыдно было в 1944 году, что не помогли Варшаве. Стыдно было в 1956-м, что давили Венгрию. Стыдно было в 1958 г. из-за травли Пастернака. Стыдно было в 1968-м из-за оккупации Чехословакии. Но в 2003 и я был на конференции в Израиле, встречался со своими читателями, обсуждал с ними местные проблемы, искал, вместе с ними, выход, – но стыда за действия, которые мне не нравились, не чувствовал.

В 1968 году научная командировка занесла моего приятеля, Юрия Львовича Кроля, в Прагу. Женщина на улице спросила его: Вам стыдно? «Да, мне стыдно», – ответил Юрий Львович. Любопытно, что многие его коллеги-востоковеды разъехались, а он остался в Питере.

В конце 50-х годов по рукам ходила статья польского ученого, Яна Котта. Запомнились мне слова, из какой-то найденной им цитаты: «Когда весь народ охвачен чувством стыда...» Этого пока нет. И мы легко миримся с родной грязью и легко бежим от нее на чужбину.

продолжение следует